

Александр
РАДАШКЕВИЧ

Реликварий ветров

И з б р а н н а я
л и р и к а

Александр Павлович Радашкевич

Реликварий ветров.

Избранная лирика

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57151245

*Реликварий ветров. Избранная лирика / А. П. Радашкевич; сост. А. В. Радашкевич: Алетейя; Санкт-Петербург; 2020
ISBN 978-5-00165-090-4*

Аннотация

В книгу вошли стихотворения из шести сборников поэта, прозаика, переводчика, эссеиста Александра Радашкевича, охватывающие почти полвека творчества и представляющие лучшие образцы того уникального явления русской поэзии, которое критики давно и по праву назвали «стилем Радашкевича» и о котором, возможно, лапидарнее других сказал Вальдемар Вебер: «Радашкевич знает: то, что он говорит, не скажет никто, и говорит так, как способен только он один». Эта книга приглашает читателя совершить внутреннее путешествие сквозь города, страны, миры и эпохи, «где кенотаф оплаканных химер алеет в час нечаянных признаний, когда мы ясно смотрим в никуда, чему-то ничему смущенно улыбаясь».

Содержание

Из книги «Оный день»	9
Представление автора	9
«Пусть бегущие добегут...»	10
Сказ	11
Боги	12
«О голубь мой, товарищ сизый...»	13
Мумия	14
«Мне не бывает скучно никогда...»	15
Круг разлучения	16
Чужбинное кладбище	22
Павловский парк	24
Старушка	25
Зимний пейзаж Лейтенса в Эрмитаже	26
Американскому рецензенту Марины Цветаевой	27
Поэт за окном	28
Утра	30
Элегия каждого дня	32
Капитанская могила	34
Письмо из последнего детства	36
К «Сказке королей» Чюрлёниса	37
Португальские стихотворения	39
Испанские стихотворения	43

«Были альказары, после...»	47
Друзьям	48
Гравюры	49
«За рамой ива, как в подводной дали...»	50
Живописанные лошади	51
«Бабуся мне, когда её подругу...»	52
Тот свет	53
Отъезд Александры Феодоровны из Палермо	55
Великий князь Александр Михайлович	57
Пётр Второй	58
На смерть Александры Феодоровны	60
Предбальный сон, или Письмо о причёске	63
Москва того года	66
Спор	69
Видение Анны Иоанновны	71
Подвиг пустосвятства, или Гаврюша-старчик	73
Триптих русских астрономов	76
Московские ряды	79
Шпалера	81
Из цикла «Романсы и арии»	83
Надежде Обуховой	83
Сергею Лемешеву	85
Александрю Вертинскому	86
Карусель	88
Карамора	90
Буколика	91

Прошлый август	93
Идиллия	94
Октябрь	95
Утром рухнуло старое дерево	96
Итальянское лето	97
Рим	97
Флоренция	98
Венеция	99
«Мне снились стены городов, морей...»	102
К похождениям г-на Чичикова	104
«Словом, если удавалось – то...»	105
Две темы для финала	106
«Всё это, слушай, вышло попыткой...»	107
Акватинта	108
«И примостившись к замшевому уху...»	109
На смерть Алексиса Раннита	110
«Павлин распялит хвост нам в Фонтенбло...»	111
«Среди непроходимых глаз и хруста льда и...»	112
«Откуда взялся, мальчик, ты и почему...»	113
«Одиночества улочки шаткие, я в обнимку...»	114
Блаженной Ксении	115
Казарма	117
Фотоповесть	118
Ирине Одоевцевой	119
«Полый ящик мой почтовый в недрах...»	120

«Впрок причащаюсь крапчатому Лувру. Вагон...»	121
«Писать с приставками...»	122
«Это был живой...»	123
«Забвеньем меж и упованьем, в долине...»	124
Кошке Стёпе	125
Романс Ральфа	126
Сен-Бриак	127
Дома	128
Озеро	129
Памяти Гали	130
«Ускакали короли, откатили луны...»	131
«За окном карниз во сне. Некая погода...»	132
«За ликом лик, за следом след...»	133
«Вот и смылилось мамино мыло...»	134
Театр	135
«Прощай, мой град, в который странный...»	136
«Вот и канул последний Париж...»	137
Из книги «Последний снег»	138
Прелюдия	138
Год любви	139
Платье Sissi	140
«А в этой жизни вякают часы...»	142
Памяти папы	143
«Только пьянки и похмелья...»	144
Куплет	146

«Вам всем, с кем ветру по пути...»	147
Ода одиозная	148
Voyage immobile[3]	150
Турецкий август	151
Вивальди, или Удовольствие	152
Приземление	154
Конец ознакомительного фрагмента.	155

**Реликварий ветров.
Избранная лирика
Составитель
Андрей Радашкевич**

Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и техническом содействии Союза российских писателей

© А. П. Радашкевич, текст, 2020

© А. В. Радашкевич, составление, 2020

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020

Из книги «Оный день»

Представление автора

Но я зерно иной земли. Туда прибудшую
армаду не изумит, что в гавани сверкает,
встречая, алая толпа из королей, из королев, что,
в волнах мантий подлетая, пажи, себя самих
собой смутив, упёрли око в хвостик горностая.
Земля заставлена дворцами, и каждый парком
заключён, где всякий принят королями
и королевами с двором. И всякий после, охмелён,
отпущен в дол, где ветры носят взятый взор,
где греет плечи рыхлый ствол – пока плывущая рука
перстов не пустит по кудрям, по векам тонким, по векам.
И ты увидел: всё не зря, ни в чём не зреет обмана.
Туда заблудшая армада легла в коралловом лесу...
Того и я не обману, кого нетрудно разуверить.

4. III.1980. Нов. Гавань

«Пусть бегущие добегут...»

Пусть бегущие добегут
и летящие
не сорвутся,
путешествующие
плававших
разыщут
и живые живое
допьют.
Ну а мёртвые пусть не пеняют
на недужное наше
жизнѣ
и с лопастых цветов
пусть снимают губами росу
у прозрачного дома,
где они непробудно
живут

XI.1976. Пб.

Сказ

В пушистых павловских куртинах
живёт прохладная лягушка,
на лире лап достойно каменеет
и, не мигая оком золотистым,
сливает дождь по лаковой спине;
найдя глухие заводи Славянки,
там побивает тьмами комаров.
Впивая запах сохлой тины,
в широких ранах колоннад
полдненным сном томится недвижимо.
И ночью всякой, в час один и тот же,
прошлёпав по аллеям и мостам,
следит, как проплывает в кронах дымных —
из Новой Сильвии на Красную долину —
хламидой окрылённый Мусагет.
Когда же зацветёт вода и помутнеет,
когда повеет медным сном листва,
последний раз прыжком последним
под солнцем оседлает камень лысый
и лопнет изумрудным пузырьём.

VII.1973. Пб.

Боги

Все боги живы ныне в нагорных странах или
во тьме нечеловеческих пустот.

Снимая жатвы спелых душ,
они не властны умереть. Над безднами
колышутся печальные их лики,
пугая стаи робких облаков
и ясность вод великих.

Века откатят, и в пространный час
смолой кадилен, гарью теокалли,
цветами, кровью, плошками и воском
они бесстрастно запирают
ушей бездонные воронки
и после спят, и снятся после,
плывя туманами по мракам,
к земле своей лицом.

IX.1976. Пб.

«О голубь мой, товарищ сизый...»

О голубь мой, товарищ сизый,
нахохленный, конец крадущийся принять
готовый тут – под сенью водосточно —
архангельской трубы из серебра.
Как дым, избитый непогодой, ты так
устал и прячешь в перья клюв. Морщины обступив
далёкой лужи, другие воду пьют
и грязь, толкуя о любви и корках.
Проходит дождь. Я слышу: покатился
уж по ступеням. Как же, друг,
тебя потом перешагнуть? Но вот
старуха с бормотанием уносит,
что было птицею. Нахохлилось,
что было мной, в своем углу теперь.

23. VIII.1977. Пб.

Мумия

Сегодня в зимнем доме Государей
от серости и тяжести небес
раздетая мумия вздрогнула зябко
и изменила выражение оскала
на горькое. Владельцы тел при этом,
шатнувшись, вышли вон из зала.
Сквозь две копилочные щели
она смотрела бывшими глазами,
едва от хруста, слава Богу,
удерживая кожаное сердце:
Нева тяжёлая у стен ещё недавно
ползёт, глотая мокрый снег...
Хранились вина в пирамиде —
иссохшие, хранились воры,
подкошенные шорохом песков;
на волнах бледной темноты
вставали сотни лет помины
в разлив её души... Не так теперь.
И взор её, густее смол, отлив
назад, оставил нас опять
на нас и маету, бродящую, озлобясь,
сегодня в зимнем доме Государей.

«Мне не бывает скучно никогда...»

Мне не бывает скучно никогда,
как в юности – порой огромной,
но так же страшно иногда и больно.
Как жили славно: было ей не до
меня, когда разматывались дали
и близь цвела у рук. Я помню.
Не от того, что сумрак одинок,
мы умереть старались в марте.
Теперь тенями густо населён,
и время льётся плотной тканью,
разматывая взор часами,
и скуки страстной нет, чтоб воскрылить,
и рук моих теперь не выпускает
пора моя. А мне не до неё.

15. IV.1978. Пб.

Круг разлучения

1. Город

Не принимает меня в окна,
не глотает зёвами арок и не
кружит каменным штопором лестниц
по карманам подъездов – молчит
город, в котором пунцовые свечи
сквозь вино разгорались, как кровь, и часы
проводили ущельями музыки
к озарённым подземным озёрам.

Бездомная моя улыбка
вчера осиротела здесь. Бьёт десять. Десять
раз короны вздрогнули в гробах,
и ангел, полетав чуть-чуть,
вновь накололся на иглу
гранёную.

От Иоанновских ворот
по берегу брести и видеть: башни проросли
лазурными и белыми цветами,
и слушать плеск темнеющей Невы,
и – отлететь с моста к тебе
за лапками плаксивых чаек.

2. Этот день

И этот день быть без тебя,
проволочась в назначенных теснинах,
как червь слепой. И этот день
неспешно пить густую боль,
креплённый мёд разлук. И этот день
хранит тебя, как камень – звук, и дерево —
слезу в незримой глубине. И этот день
острей протекшего, когда стираю пыль
с запомнивших вещей. И этот день
живёт твоё лицо, как пламенная память
о сущих пустяках... И этот день —
о далях взора, павловской тропе,
о хрупкости, виновности, зиме. И этот день
будь проклят! Так тебя люблю, как душу
прошлую и нежный прах земли. И этот день,
горе, тебя мне не отдаст, меня —
тебе и бросит в ночь, как в ров.

17. IX.1977. Пб.

3. Чтение (Денис Давыдов)

С утра кружился редкий снег,
и старых тополей высокие шпалеры,
теряя золото, чуть колыхались,
как от великого дыханья,
а полы светлого плаща
в разлёте реяли, и мёрзли пальцы.

Я после сел за чай с Анакреоном
под доломаном и не скучал,
собратствуя в речах зачарных
усатых молодечеству и скорби
безусых дафнисов гвардейских,
одетых в элегическую холь.

Остыла чашка. Я им задарен:
хоть не было тебя в твоём углу
за чаем, но и меня не очень было,
когда он так скакал в угарный рай
допитых вин, усопшего гусарства,
где «кивер зверски набекрень» и
«ментик с вихрями играет».

6. X.1977. Пб.

4. Элегия с белкой

Я в парк вошёл, и всё сошло. Я стал заряжен
в тёмный ствол
аллеи, целившей в забвеньё и незабвенность. Траур хвои
и пятна смертной позолоты, да небо стёртое и дождь
кренящий. Легковерен – разлётом павловского края,
надумавшего нынче осень лишь для меня. Земля ли
в глазах? Разгладив щёки мха, хладящие, я вздрагиваю от
надлома пальцев бронзовых, от каменной слезы
набрякшей
и мраморного взгляда в спину. Храм обретенью.
Мавзолей
сообщникам классической утери. Кентавры,

бьющие копытцем,
одни строптивы тут. В верхах повизгивает белка,
не отрывая глаз от глаз, запнувшихся на ласке. В кармане
—

мир наград! – конфета... Кружась, спускается, но медлит
скакать в траве. Привстав, берёт в протянутые лапки
(как дама – шляпу в лотерее) и – отпружинивает в ели.
Высокий вал из блага. По воле беличьей. По замыслу
Гонзаго,
кто молвил исподволь – разубранной натурой.

8. X.1977. Павловск

5

Как странно, тёплый дан декабрь
тому, кто одинок. Как дерзко солнце
сегодня хлещет в лоб его – того,
кто одинок. Как взросло губы отдают
тому – не те. Как зло вино и полы звуки
бессонных лабиринтов, где зеркала
тому – из тупиков. И как равно
из дня порожнего вываливаться в день —
из гроба в гроб – тому, кто, знай,
ступает ломким льдом,
когда ладони выпростает в заметь —
два лотоса – тому, кто одинок.

18. XII.1977. Пб.

6. Простая песня

И повелел: Закрыть мой замок насмерть!
И гнёзда ласточек сколоть, и мост треклятый
поднять, и отпустить в луга моих коней,
и все часы унять, и сшить мне сорок
таких же платьев, и погреба и подземелья
скорей раскрыть, чтоб мгла, вино и стынь
колодец замка до краёв налили,
чтоб струи голосов и времени его не пере —
хлестнули – нет! – и чтоб очей никто от праха
не отнимал, и чтоб никто на ухо никому
не помянул тебя! тебя! тебя! И в ночь иль день,
когда воронка звёзд иль сини из плоти вытянет,
с семи сторон поджечь мой бранный замок,
чтобы погрёб неверными стенами.

3. IV.1978. Пб.

7. ВЕЩИ

Разбирать наши вещи, словно шарить
в осколках, кровью срезы пятная; словно
нежить ребёнка, лицом прижимаясь. Разбирать
наши вещи, как кататься по полю, цветы
подминая, как снимать страшный бинт
с незатянутой раны. Это – полки романов,
обломившийся мостик в доживающем парке,
это – в палые листья врыться, теряясь.
Залетая в бестень, колыхнуть наши звёзды.
Целовать наши вещи. Затекают колени.

9. VI.1978. Пб.

Чужбинное кладбище

I

В вечерний свет ноябрьского утра
по льдам скольжу неловко и кошу
на остеклённую неотмершую зелень,
пот окон и растерянные ноги вкось
снующих.

За поржавелою решёткой
разбухшие могилы. Что старше – коченеют
вдоль бурых стен. Всю ночь
вчера валило. Сегодня тает. Что делаем,
скажи, мы в этом мире ватном.

28. XI.1978

II

В день вешний под разливом облаков
сорвёмся с белками скользить
промеж могильных плит! Пускай
погост не тот, куда, стена, изгой
придёт стрелять в широкий лоб
на холм, под коим мать лежит; не тот,
чтоб атлантиды облаков следить всерьёз
иль в неурочный час застать
здесь что-то, кроме мокрых бегунов

(за каждым – смерть трусцой), но места нет живей. И поделом, мой вешний Бог, саднит чужбина.

9. III.1979

III

И в снежных сумраках шурша,
приветные я оплетал опять могилы
следами. Русская судьба,
без спроса, без толку, безмолвьем подарила.
Незатвержённые слова навыврезала мне чужбина,
чтоб, в снежных сумраках шурша,
прозванья скошенных за веки плыли
от ломких глыб: его жена, их сын. Их снег
забил, вчитавшись до меня, до вас,
но вам они едва нужны ли.
Вас нет. И лучше: не одна душа,
свечой дрожа, тропу мне переплыла
по сумракам, снегами не шурша.

22. II.1980. Нов. Гавань

Павловский парк

Тесна мне комната моя – о как! —
и заключающий дворец, чьи пропады дурят.
Мне Город тесен, что похож на вечность —
там она! – и чей отлив заботит так,
как покидающая кровь. И что тесней
уединения, что страстной слабости к тебе ли, к вам?
Размины горло перевьют, и возлетаем —
вислый флаг. Теснее музыки и книг
лишь сны, что ловят нас. А дальше НО,
и это парк. Лишь НО просторно нам.
О повидавшие конец, он ваш – но не его.
Он место, где случался Бог. Следы очей
и стоп Его там пронизают грудь и лоб.
Там времена проводят всё сквозь воды и
листы – всё, что не нужно никому: зачем оно холмам,
к которым юности сбредлись – пространные о как!

4. XI.1979. Нов. Гавань

Старушка

...Аль выщвела? – всё не могла
я рамочку отдать и прятала,
да нет её... Цветков пужалась,
и только в глазоньки кота
глядела, будь темень денная,
полуночная будь. Да Господи,
уж год, как милого мне мальчик
в кусточках тех зарыл. А всё
не плакала, и вот... Эх, милый,
сегодня солнышко чуть свет на пальцы
легло, да их уж не согнуть,
и слёзы Бог послал, как девочкой
лила: всё радуги и дальний будто
звон. Уж, верно, ждут родные и
пора приходит. Так-то, милый.
Поди, поди. Теперь чего уж...

21. VIII.1979. Озеро Мичиган

Зимний пейзаж Лейтенса в Эрмитаже

По стали льда неверными шагами
плюмажи тополей в луче гранёном
сюда грядут – до венистого дуба;
и вдруг – возлюбленное чудо! – в обратную
со спинами, несомыми коньками,
кустами, крестиками птиц, небес
морщинами – до дыма крыши и белых башен,
где сразу ясно нам: то удалялись тополя
от дуба, вдаль, по льду – и льдами же
вернулись, а мы глазели в тяжкие
шелка, которыми окинуто полнеба,
которое кривит стеклистая вода,
которая нас за нос и водила
по стали льда неверными шагами.

10. I.1980. Нов. Гавань

Американскому рецензенту Марины Цветаевой

Литературоеденье – грех супротив
природы. Не гундось же, гаер старый, кто
с кем спал. Твоя заслуга – грыжа
только на весах, непристойнейший реванш
за нарыв бесплодия. В прибыльной заботе
обуздания чуда он тебя наставит,
серенький компьютер. Вспомнил:
в стареньком журнале – попугай
Наполеона! Старый-старый, голый —
голый. Он кормился с треуголки,
ты – с елабужского гроба.

7. V.1980. Нов. Гавань

Поэт за окном

Алексису Ранниту

Это в мягкую шерсть завернувшись,
птиц галдящих в полёт поднимая,
на лесбосские лирные волны
так выходит Алкей седогрудый,
вея миррой от плеч, сокрушённых
хмелем битв и похмелием пирным.
И взор его моря шире.

Это в синие призраки сосен,
пролетающих в небо и в воды,
так кувшин зашвырнул опустелый
нелюдимый Ли Бо – лишь великую спину завидел,
будто остров, вслепую скользящий
на луны золотую дыру.

Дали зеркальные в тысячи цинов.
На вокзальных камнях Царскосельского
это сжал под бобровой шубой,
так преставясь нечаянно, Анненский
Иннокентий – осколки и тени,
что слагали, что вдруг разорвали
архаически властное сердце.
Урна слушает шум кипариса.
Это ловит снег устами —
вкус судьбы в кристальных сагах —

так кружащий Йёста Берлинг,
слава северных поэтов, обожающий заветы
для пленительной измены всем теням и
всякой вере: верность в сём гипербореев.
Пряди русые за ветром.
За окном среди дня так ведёт, не заботясь,
четверых за плечами высокими,
под аркадой сплочённых столетий,
крылобровый Алексис Раннит,
раздвигая немолчным безграницем Балтики
путь, мощённый ему янтарями.
И окно процветает молчаньем.

5. VI.1980. Нов. Гавань

Утра

В галерее тополиной – утра, что отбыли ветром.
Звонкий луч просвечивает веки. Те ли —
склонов уральских, с иконной ладонью, что ткани —
сеть золотую далее – вдруг потянула рассвета? Те ли,
выспанные ангельски над озёрной сталью белорусской?

Те ль – с не солнцем петербургским, в молоке и в
перламутре, где завис в нас – через души —
прожитой не сон, не город, упираясь в теми хлябей
фонарей кометными столбами?
Крепость – чайка – нежность – пропасть —
лодка Господа без вёсел.

То ль – растрелльевых ступеней, у дверей слепой
каморки,
где каштановые взоры над подпухшими устами —
теми, которые, помню, не последними выплывут в
смерти?

И когда я не проснулся – то ли утро, то ли
утро?
Те ли – в пыли оренбургской,
что катается под кожей, или – с елями и паром, а под
веком
с парусами, на больном снегу германском?

Утра

(мы цветов – слабее), ущерблявшие на годы
из беспомощных объятий барабаном разлучений. Утром
дважды

ворочался (а туманы гнули спину) к сизовекой,
к лучеокой – окликавшей мне лишь внятно... Да и

то моё – без ночи, беломайское, сплошное,
в кровь изранившее ноги
под растраченной, набатной, разбескрайней
головою. В нём возмездья – как награды
и как долгий нож – дороги.

И тогда —

московское не утро и не свет. Неверное
такое. И тогда —

отвесившее небом молодость и родину мою.

12. VIII.1980. Нов. Гавань

Элегия каждого дня

Так провожу в завалы ваших улиц
гирлянды слюбленных домов с усталыми
дворцами, суровой нитью смётанных, как души,
отлившие из них. Нагие толпы верных статуй —
от сахара надколотых колонн, с позеленелых кровель, из
погостов праздных, ниш и парадизов вдовствующих
парков

так провожу.

И волоку шелка мышинные дождей, дождей,
ночей сквозных воздутые полотна и аллегорьями
расписанную завесь, чья тяжесть – мир,
который про меня.

Мятежной карой наводненья

так крою катящую нежить на мостовых, по сизым
тротуарам —

ряды менял и юрких фарисеев. Крылом волны я грудь
поугру

свежу – пустую – так.

Так ветер, снова рвущий вспять

из озверевшего залива, устами скользкими прошедший
свирели тех мостов, меня опять пронесит мимо,

мимо – с обратными глазами мимо всех,

кого не дарит звоном и лучами

и чьих ладоней плоских не язвит

*мой северный цветок воспоминанья.*¹

1. VIII.1980. Нью-Хейвен

¹ Курсивом – из В. Жуковского.

Капитанская могила

Джон Брэдли – мёртвый капитан, плавучая душа.
И туя сзади ни при чём, когда такая тишь
растит на паруснике пыль.

Нетрудно пряди на ветру, который ходит там,
признать на лбу и по плечам. И кто ещё таков?
Кому досталось бы душой шершавой править облака
с восхода на закат!

Джон Брэдли, ярый капитан: над именем фрегат.
Он отжил восемьдесят зим и к ним одну весну —
до дня прощанья кораблей, и в этот день отплыл,
оставив хлябей плоть иным, совсем
теперь один. Был ветер в спину. Но волна! —
она проходит сквозь. И вниз она.
А парус – сам

Джон Брэдли, млечный капитан. Когда такая тишь,
матросы знают наперёд, не обернув чела,
как править им на том ветру высокие труды.
И в прядях их так густо звёзд —
на лбу и по плечам,
в очах же – дымные поля, что снились в детстве нам.
И первый начал так:

Джон Брэдли, юный капитан... А ветер подхватил.

И каждый гулко вторил там, не отворив уста.

10. IX.1980. Нов. Гавань

Письмо из последнего детства

В. Ш.

Ты прислал мне кусты фонтанов
петергофских, эфирную поступь древних
отроков (ах, лодыжки гермесов крылаты!)
и глаза полуночного волка (с острым
золотом смешанный пепел), наведённые
нагло и кротко из крахмальных сугробов
постели, что, как остров, тиха и громадна;
те сухие монашески губы, подлетавшие
сном неожиданным, и предутренний – с маслом и
перцем – ты прислал мне наш главный хлеб;
и мальчишечьи грабли пальцев, столь неспешных
в былых волосах, и такие иные объятья, что и
ныне спасли бы меня; и плечо, над которым
веками я бы ждал неуютной зари.

17. X.1980. Нов. Гавань

К «Сказке королей» Чюрлёниса

За каменными змеями ветвей,
меж коими висят опухшим роем звёзды,
в зубцах и снах и птицах иглокрылых
плывёт возвышенно наш отчий замок,
где в ночь иную с нами начудят,
по простыням, коврам, исхоженным ступеням
топча протянутую кровь,
чья явная и стылая лазурь
для детских глаз нещадной черни ала.

Край сосен и полей в литовских тополях,
откуда крылий выпорхнул багрянец,
страну живую – солнце поздних дум
сегодня мы подняли на ладонях,
лобзая взором лес и дрёму тёплых крыш.

Огни дрожат в надвинутых венцах,
и длань, как корень, на мече весомом.
В прозрачный час молитвы о земле
мы подорожникам её поклон положим.
Ведь звёздный ход так мерен и подводен
и города восходят по ветвям —
соборы, мельницы и кладбища на скатах —
как плоть надежд во мгле обожествлённой,
где нива светит в лица королям.

Ш.1981. Нов. Гавань

Португальские стихотворения

1. Лиссабон

Я города, где всё как будто ввысь
и вниз, за угол, в бок, в тупик,
в разброд, по струнке, в бред и вкривь —
переплетясь, перекрестясь, переливаясь сходу
в Тежу; где девицам не снилось, как
краснеть, а женщины пожившие черны и
богострастны; мужчины носят юные
тела, а юношей смуглят в глазах обеты;
где пахнет рыбьим скользким серебром
и осьминоги в ящиках лоснятся,
где шлюпку валкую зовут «Гроза морей»,
где бранный гул и мёд гитарных лун
и слава рваная в гортанных слёзах фадю;
волнистых улочек Альфамы
где райски заплетён безвыходный клубок,
где студит солнце в жёстких ласках бриз —

я города за веками не строил
во снах благих.

25. X.1981. Нов. Гавань

2. Башня Белен

Белен. На память – целованье
в настенной башенке. Ветра,
натруженные гоном,
ложатся вздохами у ног,
и – покатили, не прощаясь,
в слепые дали паруса.

Белен. Глаза шагнувшей башни
попынным бегом мутной Тежу
стремимы в хриплый океан.

Шелками дышит ли надежда,
кирасы солнцами глядят,
но то, что всякий сгинет где-то,
не нас печалит. Удалясь,
они несмело обернулись
через плечо – короче так —
к понятливым ли шатким пальмам
иль к ней, из путаного мира
стремимой странно недвижимо,
как будто каменной короне
или Мадонне на краю.

VIII.1981. Лиссабон

3. Дворец в Мафре
Способен ли Жуан был Пятый,
нам затруднительно судить:

его способности зарыты
и в мрамор голый облачены.
Но раз заметил он монаху,
упёршись взором в обшлага,
что если-де наследник будет,
то встанет, мол, и монастырь...
И чудо – принц визжит в подушках!
Молитва, знать, была внята.
В Эскуриал свой португальский
король вселяет братьев
францисканских.

Стул из рогов оленьих.
Библиотеки бездна.
И спален малых детских
невыспанные сны.

Искрятся ли
ночные вина бегства – не скажет ни
опрятный Мануэль уже, ни мону —
ментальная Амалия: им снится опенённая
волна у Сан-Винцента-за-Стенами.
Нахохлилась растерянная мебель
промозглых анфилад. Портреты ранены ножом и
факелом изрыты. Сегодня смуглого солдата
венчают с девушкой курносой
в соборе. Розовая крыса
просеменила под ворота.

19. IX.1981. Нов. Гавань

4. Замок Пэна

Мы шли, в листве кружа, на гору
среди гор, поднявших дрёмный сад,
где небо сущее в прудах
стекало в лес непросвещённый,
уже в дооблачные горы
всходящий поступью стволов.
И замок вышел в сказке башен,
где сквозь зубцы, как между пальцев,
текли ручные облака. Так было нам
в простёртой сини, что подставляли
мы глаза, чтоб облака опять лизнули
и даль, заглоченная далью,
за далью дней нам всё цвела —
сквозь рябь сникающей листвы —
закатом мавританского разлива.

VIII.1981. Синтра

Испанские стихотворения

1. Кордова

В блаженных патио вода
одна не спала, когда сиеста
злая уложила коров суровых и
наивных по шеи в бархат
Гвадалквивира. Да
в пазухе пустого храма,
под призмою багряной робы
(юницами эпических родов, как встарь,
ревнительно расшитой),
корчилась
Наша Сеньора Скорбящая,
лия барочные кристаллы мимо
рта, как у розовой рыбы,
заснувшей
в редкой сети кордовских кружев.

Х.1981. Нов. Гавань

2. Саламанка

«Но компрендо». Тихоходная матрона,
в мелком золоте, отплыла. – Мучас
грасиас, сеньора! – В полночь грешен
невниманьем Божий город

Саламанка.

Утром семь дотошных струн —
из оливкового взора разбитного
гитанёнка: пять вовсю печальных, две
совсем срамных, – на виду
у Старого собора,
где по нишам не дотлела
сера Страшного суда.

3. Гваделупа

Дно разверстое небес
там обрызгано огнями,
где Мадонна с тёмным ликом
смотрит раненно в глаза.
Там янтарны апельсины
над фонтаном монастырским,
где кричали, чтоб Родриго
братьям страхи рассказал,
где гитара с юным хором
завела ночные канты,
и под кровлею дозвёздной
наповал нас ублажила
сласть ликёра травяного,
чтоб поутру, в галерее,
где увядшие полотна
внятно славят Черноликой —
из земли, во снах и сечах —
чудеса и претворенья,

нам под~~ал~~ в дорогу инок
босоногую улыбку.

VIII.1981. Мадрид

4. Эскуриал

Эскуриал, как из души, опять ворота растворяет,
хоть день за нами не плывёт и клики птички не иссякли.
По небу горные леса слились пологими валами,
и дальним будто тянет морем, пока не грохнули
затворы, пока не встала в рост стена
за всякой стылою стеною, пока пустоты не
проглотят себе враждебные шаги.

Эскуриал,

как судный путь, начнётся чудищем собора.

Крутые рёбра – скал иль стен? – взлетели вдруг
из преисподней. А там, в потухшей вышине,
клубятся с плеском одеянья в цветном, горячечном
кипенье: зелёный, алый, глупо-голубой и розовый
и райски васильковый.

Теперь, скользя по лестнице

покатой (как тянет прорубь эта!) – туда, где факелы
сгустили черноту, где полых три лежат
на львиных лапах гроба – средь непустых гробов,
гробов, гробов. «Иссякли дни. И вот ничто,
ничто, ничто не в помощь...» Ещё: «Как тот блажен,
кто награждён был тут достойною супругой».

Инфант, инфанта – дети Леоноры: кто замертво
родились – безмянны. Порожних ям на десять

поколений – без эпитафий и гербов.

И вот

на мраморной подушке полуприкрытые глаза.

Меча не сжали склеенные пальцы... Прощайте,
Дон Хуан Австрийский. Я вовсе не умею умирать.

Но вы из тени сей, где вам не спится, герцог
лунолобый, мой сон не проплывёте в час, когда
ворота настезь растворяет моей души Эскуриал.

Х.1981. Нов. Гавань

«Были альказары, после...»

Были альказары, после —
акведуки. Целовала в душу
пряная Альгамбра.
Пусть теперь угонят
самолёт в обратно —
после хрупкой оперы
о царе Салтане
побрести вдоль Крюкова
чёрного канала,
пригубить у форточки
ветерок высокий —
всё равно с того ли,
с этого ли света.

Нью-Хейвен, 1981

Друзьям

И даже те, на чьих устах моё
простыло имя, вы все со мною у стекла в сей
час – прозрачным лбом. Я
с вами столько лишних
лет не падал в тишину
стремглав, а снег ночной в моём
окне так мается о нас, как будто вы ещё верны
несказанным словам, как
будто даром я возмог
чему-то изменить, как
будто скудная зима простит
нам враз судьбу —
сумятицу – за схлёсты глаз
в полночный снегопад.

14. XII.1981. Нов. Гавань

Гравюры

Туда, где всё нездешне буро,
не сходит снег, поток не сякнет,
не волокут на бойню с луга,
не баламутят едкой цвели; где

не проходят облака и ветер трудный, не
слабея, нетленно складки тех
материй (у колченогих куртизанов и дев
не внемлющих) в разлёте треплет; где

топор, взлетев, беззначен жаркой шее:
где взор от взора не ползёт, не облупа —
ются торцы, не вырубают парков дряхлых;
где от свечей ежастые лучи... Всегда

там всё по мне: нездешне буро. И не —
хотя взглянув оттуда, вас потому
вполне не разумею и всякий день
смутнее признаю.

27. IV.1982. Нов. Гавань

«За рамой ива, как в подводной дали...»

А. Х.

За рамой ива, как в подводной дали,
волнится – мороком косматым.
Два дня дожди и хворь. Твоё письмо
о влюбчивой печали и
вяза снов не может быть ко мне.
Мне холодно. Любить тебя за валом
густых дождей – докука окаянная
такая, такая разненастная весна.

7. VI.1982. Нов. Гавань

Живописанные лошади

Так часто, мимо седоков
послеобеденной поглядки,
я в очи прошлых лошадей
вдруг упадаю оглушённо, не
слыша ни фанфар викторий, ни
ретирации конфузливых рожков,
в забвении своих и вражьих,
у ветхого доверчивого паха
равно врезающихся шпор.
(Что нам несомые? —
к несущим
родство по язвам
уследимо).
Оглаживать ли взором букли,
жабо стрекозами на латах
иль эту Славу сливозадую
в грудастых облаках – они
пытливо косятся сквозь чёлки
(мне сразу верится, что ниот —
куда; мне верно чудится, что в ни —
куда). И сразу синезвоны за
висками. И шаг раскованный – в заоблачные рамы.

«Бабуся мне, когда её подругу...»

Бабуся мне, когда её подругу
закопали, всё сетовала в ранний
вечер, что внучки больно обижали
покойницу, всё плакала. И чем же
было утешать её, чьи тёмные
ладони навеяли мне лиственное
детство?

Наследовал гребёнку
частую и зеркальце с обломленным
углом, а в нём – меж окнами
окно в буране тополином, и
сверху взор её, когда, в сержантских
лычках по плечам, к порогу
подбежал, и снизу тот – растерянный
её, голубящий неспешно.

4. IV.1983. Нов. Гавань

Тот свет

*...Россия для всего, что не-Россия,
всегда была тем светом...*

*Некоей угрозой спасения – души —
через гибель тел.*

М. Цветаева

К. Р.

*Лихая удаль, честь, любовь к отчизне славной,
К великому Царю и вере православной...*

– Мосьё, я старый командир, и подзабылось, слава Богу...
Лишь помню некий юбилей, «к ноге!», года мои,
хор музыки;
лишь – чёрной шляпы монумент, и вуалетку, и платие
гри —
перль на Королеве Эллинов, лорнет её, цепочку,
мелоди —
ческий привет; лишь наше страшное «урра-аа-а!»,
кадетское – не то, каким пролаяла б пехота, трижды
глубая, мосьё... Кхе-кхе. За ней на шаг – Великий Князь
(наш Августейший Шеф). Ах да, однажды честь
имели мы ему быть местом вдохновенья для пьесы,
называемой «Кадету»... Его двух стройных сыновей
я отроками помню в дортуаре, смущённых сразу нашими,
пардон, отдельными словами. То – Иоанн и Гавриил.

Мир праху

их и Константина, и Государя, и сей России... Теперь оставит жизнь старик-кадет, перекрестясь без многих слов,

для той, где все теперь, мосьё. Оревуар. Имею честь.

...Алло! Вот текст сонета Царственного Шефа: «Хоть мальчик ты... Настанет день...» Я перешлю. Да и на что оно вам сдалось? Всё переверёте ведь. Адьё...

1981. Париж / 14.IV.1979

Отъезд Александры Феодоровны из Палермо

Мы слов немногих небренность дарим.
Лоснится гавань тоской и славой.
Адио, ностра императриче!
Адио-дио-о! Иди цветами.
– Энрике, видишь? Гляди, Сантино!

Ах, эта донна любима в звёздах,
плывущих краем, где ты не будешь.
Ну, что ты тянешь? Ведь мама плачет.
Адио-ио, ностра... Да что ты хочешь?!
Она сияет. Храни, Мадонна. И дочка рядом...

– Мама так любят! И всё теперь моё открыто
окно на Монте Пеллегрино... Ах, Карл, скорее
лети, любимый, и рядом вечно! Весна какая!
Чужие люди, а эта плачет... Что если видит
из той лазури нас, бисер словно,
Адини наша... Мама сияет. Ах, Карл любимый!

Адио, ностра императриче!
Мы слов немногих небренность дарим.
Лоснится гавань тоской и славой.
Адио-дио-о! Иди цветами.

1846 / 2.XI.1979

Великий князь Александр Михайлович

Спокойный стоял городской на перекрёстке.
Навеки он, казалось, там стоял...
Опять подумалось о лицах дальних
детства, забыв и поздние измены,
и смерть на них. Опять во снах лежим мы
с Никки, Серёжей, Жоржем на лугу Царя
в Нескучном, и вот о светах – тянущих куда? —
ещё за юными плечами. И вот уж льну к огням,
гудящим около. Иное в пух, иное в прах
изжито.

1933. Париж. / 23.XII.1979

Пётр Второй

1. На коронавание

Сотни мальчиков, с алым на
белом, возвышали стеклянный
голос. Долгостанный и
птиценогий ликовал император —
отрок, на латино-российские
канты отзываясь лицом
оленьим – убиенного (ш-ш!)
Алексея (и невинной Шарлотты —
Софьи Вольфенбюттельской и
Брауншвейгской). Феофан сожигал
фейерверки. Разумел Остерман —
не время натирать себе морду
лимоном. Пискло охнули при
виватах ларцевидной кареты
золотые запятки.

1728. Новгород / 15.XI.1979

2. На преставление

– Было столько стихов
к Лисавете, подкопытного грома и
грязи, соколов да собак, и светило
темнилось – дабы сгинул генера —

лиссимус, а Ивану – Андрей
Первозванный: чтоб забыл двух невест
нареченных и разлил своеручно по
залам гулкий морок
виолончельный.

Выплывай же вперёд
сапогами, отрок, в утро непрошенной
свадьбы – эхом хладной воды
иорданной. Не труди накалённое
тело. Разужасней явлюсь я
к Анне. А Иван отпадет
безглавым. Прикажи: ЗАПРЯГАЙТЕ
СА-А-НИ! Я ПОЕДУ
К СЕСТРЕ
НАТАЛЬЕ...

1730. Москва / 18.IV.1980

На смерть Александры Феодоровны

*Я одинок в углу стою.
Как жизнью полон я тобою.
И жертву тайную мою
Я приношу тебе душою.*

В. Жуковский

1. Фрейлины

Тогда разинул уста и веки кто-кто из маленьких великих князей: от свечки его склонённой возвилось змеем лазурным пламя и поскользило мечась к короне, зависшей в сводах над катафалком, чешуи пепла в пути сыпая – вниз, где запнулась уж панихида и ГРОБ НЕСИТЕ! – уж голос царский.

Но в грузных символах
терясь, все послабело и дымом сникло...
Переглянулись,
перекрестившись.

А в головах неслышашей царицы
три фрейлины пребыли недвижимы (не так себя до нас ваяли), не поведя гравюрной бровью – за маями, летучими снегами и родами, и за концами, небывшим за и незабытым, за клавикордами, дуэлями, скамьями и ротондами, альбомными стихами, гитарами, качелями, парадами, за снами, за ней, с замкнутыми очами. И все

при этом помянули, что и Адени погасла в Царском;
как колесом
в гробу стояла грудь Николая, а сам был чёрным
(как жизнь тому
назад, в Берлине, он Лаллу Рук вёл в паре юной,
чтоб мистик спел
полувлюблённый нам гений чистой красоты),
и злая ночь: она,
во мраморе, одна всплывала за волнами громадными
пожара, что над Невою ледяной гуляли в Зимнем...
Гуляли
в Зимнем! И в той несбыточной кадрили
как прокатили по залам жарким – кружащей цепью.
За Государем. Как пролетали – рука в руке. В
неизгладимой.
И за лицом как отвернулось необратимое лицо.

1865. СПб. / 21.IX.1980

2. Собор

Мимо стен страшщей толщи, окон в нишах,
часовых, ветра голоса и хлёста
из проулков черноты, перемахивая лужи
с исковерканной листвою, паж в лосинах —
след мипарти – на полночный пост к царице
пробирается в собор. За плечом оставил ветер,
забрав в глухую арку. Холод плит сукно проходит.
Обернулся. Глазом сизым газ мигнул из фонаря.
Шорох будто? Может, листья... Приближаются шаги.

Ну же, чёртова перчатка!.. Прости, Господи. Пора.
Свечи щёлкают нестройно. Как мышей сухие
крылья, за колоннами знамёна. По надгробиям —
кресты. Лоб далёкий над парчою. Наплывают на
ступени фрейлин шлейфы и вуали. Статуарными
пажами, горностоями, гербами слышит дымный
катафалк, как куранты запевают, чтобы Бог
царей хранил. Тучи тяжко откатили. Сед
в ноябрьской луне, накренился плоский ангел
на верху гранёной мачты и – повлѣк,
не тронув ивы, в пропасть скользкую
залива по Неве ладью Трезини,
забирая ветер чёрный в озолоченные крылья.

1865. СПб. / 21.VIII.1980

Предбальный сон, или Письмо о причёске

И вот, ма шер, когда по волосам помадой прошёлся бес в последний, значит, раз, уж было за полночь тогда и мон амур давно свистел за стенкою в постеле. Тогда, кушонами с боков уткнувшись, стала я в креслах дожидаться, чтоб светало. А девки легонько пели мне, блюдя за наклоном головы и за сползанием хфигуры, которую, скажу, трудов великих стоило иметь в перпен. . . в перпенхуляре.

И тут, шер, увидела я, матушка, себя и князь Андрей Иваныча – живём и в крупной зале!.. А роговая музыка гудит! И ленты, ленты по моим плечам, шнуры косицами, цветущия хирлянды. На подбородке мушка, значит, выражает: «люблю, да не сыщу», а на виске – про томну страсть другая. Дальше больше. Так прямо надо лбом – долины меж холмов и там овечки милыя и с пастушками рделья пастушки расселись в розовых кустах. Натуры вид вершит спешаций ключ. А птички, мошки, бабочки гурьбой как раз там носятся. Зело отрадная картина!

Над ней – причудливыя горы, где зрелый муж, в браде лопатой,

в затворе дни влачит, пия там козье млеко, пиша другую свету

Элоизу. Иной удел у гражданина, жадна в пользу Отечеству свой принести живот. К тому баталия наведена там кораблей, палящих, мон ами, во смраде и жупле немилосердно там друг в дружку. И себе представь обратно наш штандарт на дыбом вставших буклях!

А дале виделось мне так:

когда вошла-то я, на самом на моём верху (надумал кауфёришка) забрызгали хфонтаны. На Государыни же милостивы

взоры поднялся с громом в небо хфейерверкер и многая пальба окрест, ма бель, открылась. Но там уж всё для глаз моих подёрнулось военным дымом, искрами и лёгким прахом.

Как раз очнулась тут и чую, батюшки, что мухи обсели мне лицо! Все девки спят как мёртвые. Святой Георгий! А встать – не встать, прикована как будто

я новой Андромахою к скале. Насилу уж дотыкалась ногой до девкиной-то морды. Потом я поняла:

халуй треклятый тот мне улеем душистым представил голову и с цельным роем пчёл, трясущихся на вроде как пружинках и крючках. На горе думочка ушла из-под лица, а мёд как раз полился...

А впрочем будь здорова, мать. Твою я
ласку чую. А объявлюсь, как сделаюсь здорова.

1770-е. СПб. / 3.VIII.1981

Москва того года

1

Люди стали помирать. И пошла
такая ересь: Богородицы икона, на
воротах в Белый город из Варварки,
тридцать лет не слышала молебнов
и не грелась в пламени свечей;
порешил Христос каменьев
град обрушить на Москву,
да вступилась Богоматерь,
упросив на православных
мор трехмесячный наслать...

Навозили,
просмолили тут одежды лиходеям,
душегубцам и – в фурманщики послали,
нацепив на морды маски.

Чтоб из окон да со снега
москвичей бы волочили, собирали,
согребали – дали крючья им на
палках. Но и так не попевали.

Поразитель

Фридриха Второго, что второй командовал
столицей, бросив всё, бежит в свои деревни
(где старик не заразился, хоть и помер ровно
через год).

А Москва молилась и пустела,

а потом, уставши вымирать,
загуляла, грабила, зверела и, поднявшись
с воем на дыбы, затоптала в снег
багровый своего архиерея.

2

И вот, герой на смену беглецу,
явился генерал П.Д. Еропкин!
Два дня с седла он не слезает,
гоняет холостыми, пуляет боевыми и
бунт примерно усмиряет. А там, глядишь,
и нет чумы...

Москвы начальником,
с андреевской звездой на кафтане,
его сажает мудрая Фелица и спрашивает так:
«Скажи ещё, чего желаешь. Крестьян – так
тысячи четыре?.. Долги отдам за все пиры...»
Еропкин ей, с поклоном: «Нет, Государыня, довольно
и прежнего с меня. И статочное ль дело,
коль мы начнём должать, чтоб, матушка,
за нас тебе платить?!»

Тогда Екатерина
святой Екатерины звезду послала с лентой
Еропкиной, жене.

Как все орлы золотого века,
Еропкин пудрился, носил пучок, причёсан
бывал в три локона. Еропкин был стрелок:
стрелюю яблоко у отроча снимал

с затылка. С крестьян же брал своих
оброку двух рублей не боле. Собой красавец
и силач он был в лета молодые. А умер сразу,
как заснул, не поджидая часа рокового:
он лбом расплющил табакерку,
три пульки отыгравши в рокамболь.

1771. Москва / 14.IX.1981

Спор

Императрица Елисавета, которую тошнило от масла постного и яблочного духу (сиречь запретного плода), которая в балах являлась ловким кавалером и блюдо всякое всегда вином токайским запивала (снимая сим же головную боль), которая по праздникам певала сама средь хора певчих и образа пешком носила для хода крестного в своих столицах; покойников которая пужалась, а спать ложилась в пять утра; которая пятнадцать тысяч платьев по шкафам (еще четыре – в Москве сгорело) оставила, почивши в Бозе, —

императрица Елисавета сидела как-то на балконе в послеобеденном веселье (историк не сказал «навеселе»), когда вдали сподобилась процессию приметить, которая нескладно продвигалась от графа Строганова дома. В начале выступал фельдмаршал старый Салтыков, двумя гвардейцами под руки бережно ведомый, за ним — сам Строганов с двумя, а дале адъютанты, кавалеры и с дамами, и все со всех сторон военными поддержаны плечами. Императрица Елисавета, немного изумясь, шлёт к ним спросить, куда их так ведут. Ответ: от Строганова к Салтыкову. Де вышел спор – который из двоих мужей

венгерское отборнее имеет, да затруднились встать из-за столов. «МОЁ! Сказать, моё всех лучше здесь, и всех вести сюда».

В тот вечер у Зелёного моста,
задравши головы к царицыну балкону,
вся публика столицы проезжала и зрела, не смыкая рта,
там графа Салтыкова в объятых Строганова графа,
всех адъютантов и гостей румяных, во сне младенческом
впавалку возлежавших. В ту ночь по площадям торговок
и
старух не собирали сплетни рассказать и пяток вовсе
не чесали
императрице Елисавете. В опочивальне же бессонный,
бессменный обер-истопник Чулков Василий,
когда его толкнули проходивши (историки не скажут
«пронося»), не преминул отнять лицо от тюфячка,
чтоб «лебедь бе-елая» пропеть всепресветлейшей.

1740-е. СПб. / IX.1981

Видение Анны Иоанновны

«Уведомились мы, что в Москве
на Петровском кружале стоит на окне
скворец, который так хорошо говорит,
что все люди, которые мимо идут,
останавливаются и его слушают;
того ради имеете вы оного скворца
купить и немедленно сюда прислать».

Она

подняла веки злобно на свечу и вывела
пером визжащим АННА.

Какой-то бес

кусал весь день ей бок так, что смотреть
отвратно на конфеты. Да и ружья
теперь поднять невмочь. А как скакала,
Господи помилуй, за тем оленем
петергофским... И станут ли потом-то поминать
по двум отметинам шальным, что в Мон —
плезире, что вот стреляла тут царица Анна,
аль позабудут?

«Уведомились мы...»

Уж кто тогда сазанов, головлей
да судаков позвать сумеет колокольцем
в пруду перед Марли? Заплакала неслышно
и трудно встала помолиться. На рамы лёг с Невы
тяжёлый ветер. «Имеете вы оного скворца

немедленно прибить».

Вбегает герцог

потный, шепчет скоро. А? Там в зале,
там в зале тронной непорядок, там
самозванка дерзкая! Пойти не хочет Анна.

Ей так тепло и тошно, и в пудермантеле
она, и за полночь давно.

Стоит сробевший

взвод. И женщина немолодая, чуть
голову склонив, гуляет равнодушно вперёд —
назад. Вот обернулась. Господи! две Анны.
Но настоящая – земли темнее.

«Ты...

ты кто? Зачем пришла?» Та, станом велика и
взрачна, молчит и пялит на императрицу
её же рыбии глаза. Вот пятится ступеньками до
трона, вот...

Бирон орёт. Летят к плечам приклады.

Ни-ко-го. Да что же... «То смерть моя». – «Позвольте
мне, Государыня...» – «То смерть. Подите
спать».

Она немым солдатам поклонилась.

«Имеете простить вы одного скворца».

Подвиг пустосвятства, или Гаврюша-старчик

«...Как порешил с постели не вставать, зачал предсказывать, так я за ним ходила — семь годочков: и облачала, и раздевала, и раза по три на день, бывало, обтирала. Да. Иные говорят, что он-де вроде кучи был, живая грязь на тряпочках в угле-то; иные веруют: мол подвиг есть какой.

Ну он, известно, ел в постели да руками — и щи, и кашку — да обтирал всё об себя; ну тут уж он и оправлялся... А то, бывало, ручку замазает. Ты подойдёшь, так он тебя-то и перекрестит. Тут барыня одна спросила про муженька сваго, куда бежал. Так он в неё помоями! А раз уж девица пригожая к нему нагнулась низко и о покраже — обдал ей все глаза вонючей нечистью. Подумай! Ему и руки лобызали и воду, что пальцами он всю перемешал, ту воду почитали пить за истинное благо.

Больных он пользовал: старухам рвал платья вклучь, бил яблоком мочёным, то слюньками обмазывал, а то и... Да. А девок молодых вертел всё на коленках,

сердобольцы...

Теперь уж он юродствует, второй
Гаврюша. Так он почище, знамо... И водочку берёт,
и кушает всё с ложки, да вот лохань... Ну
страсть как много говорит: его о женихе, о свахе,
а он тебе про неустройства всё в державах заграничных.
Народ валит – нет мочи. Да. А ты почто сама-то?..
Ты, девка, как очнётся, не черемонься, ни-ни-ни (уж
больно так серчает), а делай, не переча, что велит».

1820-е. Москва / 10.III.1983

Триптих русских гастрономов

1. Porcus trojanus у Потёмкина

Чтоб печень беспримерно увеличить, свинью светлейшего

кормили грецкими орехами и ягодами винными кормили,

а перед смертью поили допьяна вином венгерским.

Как только кровь и пьяная её душа сквозь ранку малую, что делали в паху, вся выйдет – вином хавронью тут же вымывали, а внутренности все тащили через горло. И, через горло же, искусники сосиски и колбасы пропускали,

а между делом заливали туда питательнейший соус.

В конце

концов лишь половину той свиньи обмазывали толстым слоем

теста (замешанного на вине и масле), и в самый вольный дух

немедля жарить ставили... Когда с готового жаркого сдирали это тесто, то половина жареной была, а половина

—

варёною. Свинья такая целиком являлася к столу, непотрошёною на вид! В распахнутом халате, раздумчиво

почёсывая грудь, к гостям тогда являлся одичало Ея Величества таврический орёл. Сверкнув чудесно

уцелевшим

оком, вдруг молвил: «Скучно. Унесите на...»

2. Roti a l'imperatrice

Нашедши лучшую мясистую оливку
и вынув косточку, воткнём
в неё анчоуса кусочек. С иными
оливками, мы начиняем её
жаворонка. И птаху малую, достойно
приготовив, мы в перепёлку
жирную заключим. Ту перепёлку
всунем в куропатку, которую
вместит в себе фазан;
которого мы тщательно заложим
в большого каплуна. И вот —
сим каплуном мы начиняем
поросёнка. Последний жарится
на медленном огне до видимой
румянки... Теперьотрежем осторожно
сочащиеся части для вельмож.
Для Государыни – бесценная оливка,
которую она, мы знаем, есть
не станет, но, повертев в перстах
державных и уведя глаза за
веки, лишь пососёт неторопливо,
пока гремит с хоров высоких:
«Славься сим, Ека-те-рина!
Славься, нежная к нам мать».

3. Послеполуденный сон

С пармезаном и каштанами эта похлёбка из рябцев и филейка большая по-султански (точно так: большая — по-султански), и глаза говяжьи в соусе (в соусе говяжьи глазищи!), что зовут «поутру проснувшись»: и хвосты телячьи по-татарски и телячьи же уши крошёные. Да и нёбная часть в золе, гарниро-ох! – ованная трюфелями! А баранья нога столитовая... Эти голуби по-станиславски, эти горлицы, ууу, по Ноялеву! В обуви гусь и бекасы с устрицами... Соус, ой! из вяленых языков оленьих... Ну а жирный крем девичий, и гато из винограда, винограда, винограда, то гато из винограда, *и лобзания, и слёзы и заря, заря!..*²

1770-е / 23.V.1982

² Курсивом – из А. Фета.

Московские ряды

Я эту улицу не мину. «Сентиментальные колечки! Авантажные разные галантерейные вещи: сыр голландский, казанское мыло, бальзам Самохотов, гарлемские капли! Пожалуйте-с, просим. У нас покупали». Безмерная баба подкатит под локоть и: «Ни-точек! Ни-ии-точек!» – и ниточки входят с иголками в ухо (а пухлая ручка в кармане гуляет). «Чуло-о-очков, шнуро-очков! У нас покупали».

Но гаркнет торгаш непостижное смертным, и речи Москвы ковылями сникают. Качая лотком над крутыми плечами, он что-то пронесит под сальной тряпкой – пока не сойдутся разверстые воды.

«А что продает-то?!»

«Да почки бычачьи».

«Презентабельные ленты, милютерные жилетки! Помочи и хомуты субтильные-с самые, интерррресное, сударь, пике из...» – «Любезный, а в этой что склянке?» – «Ну как же, извольте, вестимое дело: эссенция до-оо-олгой жизни».

1830-e / 26.I.1982

Шпалера

В Ораниенбауме, Ла Гранхе иль Эквоне —
душа не вспомнит где — подале от
резины и бетона, поближе к доживающей
молве — я, вытканый однажды на
шпалере,
среди мельниц и стволов, махровых лап и крылий —
ступающим по лиственному дну
пролитой в облако аллеи,
не удивлюсь:
потрогайте неколкие зрочки
и пальцы на фисташковом подкладе.
Полночи промолчали о России, но ни
одна свеча не потекла. Все музыканты жутко
недвижимы,
пока углами мгла не закачала. Вы
помните, как медленно икали перед смертью? А вы,
сударыня, враз покатались по дивану, уже не чуя,
что кофием со сливками залились. А
вас, младенчика, бокастая кормилица без матушки
щипала, а мальчику... да Бог ее прости! А вы,
из прусской юности, любили дикую козу
с брусничкой. Вы... Не стану:
все новости благие старо —
ваты, все нити сотканы и на из —
нанке ничья ладонь не встретит узелков,

но, может быть – невнятные ладони,
не испугавшись острого тепла.

24. II.1983. Нов. Гавань

Из цикла «Романсы и арии»

Надежде Обуховой

Неприметная горсточка нас
Высоко над рекою молчит.
Мы узнаем, что солнце близко,
Мы увидим, как звёзды прошли.

Мы увидим, как звёзды прошли,
И пойдут, заплетаясь, года
Подниматься к нам поясом трав.

На разлитые дали глядя,
Покачнётся былое в очах,
И мы встретим рассвет на ветру
Прежде птиц, огласивших его.

Прежде птиц, огласивших его,
Наши тройки влетают в зарю,
Но и так не нагоним себя.

Неприметная горсточка нас
Высоко над рекою молчит.
Мы увидим, как солнце прошло,

Мы узнаем, что звёзды близки.

П.1980. Нов. Гавань

Сергею лЕмешеву

Благую песню столько раз
Душа, блуждая, заводила,
На свету поздние срываясь
В неослежённые снега,

Язвили золотом глаза
Где свечи солнечные елей
И с небом слюбленному АААНЬГЕЛ
Учил сгорающий закат...

Иную песню в певчий час
И на следах моих томимый,
Над всем, что выведет огляд,
О, раздели на вдох и выдох,

Как грудь моя её лила бы,
Храня из ветра свет и снег.

III.1980. Нов. Гавань

Александрю Вертинскому

От тельцов золотых, непыльных,
от болезней и счетов,
от чужбин, душе невнятных
и не помнящих про вас,
от детей, не знающих по-русски,
не травя злоречьем ран,
не спросив непосвящённых,
не причастных вашим снам,
проживя ничейным в мире,
чтоб узнать себя впервые,
чтобы легче умирать,

поезжайте раз в Россию —
наглядеться, навздыхаться,
поклониться навсегда,

если вам нужна такая
бледноликая, родная,
неудобная земля,
если лжи уютной мало,
что и так она внутри,
если не для мебелишек,
не для частных родились,
если есть для вас могилы,
чтоб траву рукой погладить,

если то для вас забота,
что мы все зачем-то жили.

9. X.1981. Нов. Гавань

Карусель

Как-то бойко завертелась карусель: мне
рукой теперь оттуда и
досель. А верблюдов, недоплюнувших
до звёзд, и
слонов, не донимаемых тщетою,
нагоняют уж зубастые коньки, не
стремясь их ни лягнуть, ни
раскусить.

Лишь олени – те несут, не чужая мест
и лет,
углубляя сей назойливый недуг, что
выносит их по кругу на следы
свои, затоптанные в прах
теми
ли, кто – слышишь? – по пятам, теми
ли, за кем они вослед.

Мельком лица, вскользь уста и окна
вспять. Вырвешь взгляд —
простыл недолгий жест встречи иль
прощанья – как взглянуть. И не
спится уж давно на трын —
траве: душу умотала круго —
верть. Вновь меня уносит – от всего, или

всё несётся – от меня.

22-25.IV.1984. Париж

Карамора

Карамора – большой, длинный, вялый комар; иногда залетает в комнату и торчит где-нибудь одиночкой на стене. К нему спокойно можно подойти и ухватить его за ногу, в ответ на что он только топырится или корячится, как говорит народ.

Н. Гоголь

Сонно отбиваясь до
седьмого пота,
оттого корячится, что
кольнуть не может,
потому топырится, что —
нетопырёнок.
Всё не только больно и
не так уж гадко,
всё не столько тошно,
сколько слишком страшно —
всё непоправимо до
седьмого неба:
сколько ни корячься —
цепко держат ногу.

12. VII.1983. Нов. Гавань

Буколика

Крыша пыжится соломой. Что ни говори, мы с тобой, старуха, жили: ты ж латала мне портки, я же резал курам горло. Мёд, горилка на столе, на краюшке — шкварки. В три погибели согнуло немочью к земле. Ныне ты меня повыше, да сушей плетня. Оба лыбимся беззубо – так оно добрей. Вседержитель, не мигая, смотрит со стены. В хлеве добрая бурёнка, в сенях гуси. Сыновья, глянь, какущую нам гору накололи дров. «Слезь с доски – порежешь яйца!» – каркнешь внуку ты. Он послушает не тотчас. Экий шелапут!

Коль

допрежь меня в домину тесную ты ляжешь – низко поклонюсь. Ты моя старуха. Что я без тебя?.. Мне ли первому – не плачься. Что не так – прости. Не таскайся до погоста. Ешь по мне кутью. А старшому такожде

накажи, чтоб нас, знаешь, там
над озером, пусть бы нас рядком.
Мы соседям снится станем
к непогоде, хвори, так ли – нам
тогда видней... Нам тогда не всё
одно ли, даже если, как сегодня,
льёт и льёт ливмя?

29. VII.1983. Нов. Гавань

Прошлый август

От Севенн до эстуария
всё ли там несёт Луара
мимо замков дальнорких, где умильно
заедает горклым сыром оглушительные
вина втуне галльская душа, – всё ли
там блюдёт Луара, под лепными облаками,
диловатую волну
между кряжистых устоев то ли радуг,
то ли к раю переброшенных мостов?
Всё ли
так ревет ночами, помыкая сном платанов,
отдавая рыбным духом – студенистым,
как ундиныны уста, —
мимо спеси голубятен (не забывших ни
разгульного Агриппу, ни пристрастного
де Гиза) и сомнительного праха
непоседы Леонардо —
всё ли катится Луара там под сферой
домотканой, кем-то впрок пересинённой?

3. VIII.1983. Нов. Гавань

Идиллия

Когда бы взлетели на воздух три неподобных дома,
заставивших с Невы невиданное «П» Адмиралтейства,
когда бы вырубил напроочь косматый вздорный сад,
пожравший площадь у надвратной башни, и
развернулось вновь, как некогда, полётное пространство
для огляда – от лестницы Манежа и до конца Дворцовой,

клянусь, что у меня осталось бы одно бессонное желанье:
возвить барочную свечу задуманной Растрелли
колокольни.

Но если бы легкоголосой ранью вдруг восстала
громадная волна Каталной горки и я слетел смеясь
на роликовом кресле – от купола, по-над гордыней елей,
до дальней той просвеченной берёзы – то я бы лёг на
одуванчики и разучился сразу жить, не двинулся вовек,
не щурился на солнце и ночью никого не узнавал —
пусть даже в павловском Шале, среди вселенной
светлячковой,
затеют поиграть из Куперена, прихлёбывая нежно
молоко.

9. VIII.1983. Нов. Гавань

Октябрь

Из всего, о чём томились, не набрать на грошик.

Что своим однажды звали, позабыли помнить.

А кого не долюбили – зряшная забота.

Стелет скатертью дорога – позабуди, как звали.

Ветер кручит частый дождик, ни костра, ни крота,
ни пригорка, ни колодца, ни с укором взора.

Лишь о том мы не спросили, что забыть успели.

Солнце сгнуло за морем, где не нас заденет.

16. X.1983. Нов. Гавань

Утром рухнуло старое дерево

Утром рухнуло старое дерево
под окном. Я не мог не заметить.
И смотря на его мельтешащие листья,
вспомнил, как волосы трепал однажды ветер
на темени покойного соседа, и понял,
что неживое мотало ветвями
дерево все эти летние луны
и неживое – все солнца
зимние.

24. X.1983. Нов. Гавань

Итальянское лето

Рим

I

Мне нечего сказать тебе о Риме, о том, что кошки утаили, достойно пяля снизу вверх и янтари и хризолиты, не веря в наши скользкие личины, бродя по мрамору и травертину, несътыми хозяевами были. Мне нечего сказать тебе о Риме, о плоти сахарной колонн и полых взорах статуй, которые, верь, в оный день не преминут нам гаркнуть резкости в захламленное ухо на гуттаперчевой латыни, притопнув сокрушительной стопой. Мне нечего сказать тебе о Риме, пока не проросли на Авентине мои следы наивною травой, пока из Тибра швейцарский пёс не выволоч брезгливо за шиворот самоубийцу кроткого, пока замшелы выи ватиканских пальм. Мне нечего сказать тебе о Риме: там без меня уже снуют в обнимку с мёртвыми живые и тянут пенку капуччино, зеницу ока пряча от греха, чтоб Божий день насквозь не видеть.

II

Круглый срез ночного моря.
Отражая спиною осенний закат,
засыпает в садке пучеглазая рыба,
слыша, как мается ветер над пирсом, то
продвигая набухшие тучи, то
нагоняя ухабные волны.
Так и
ведётся: что очевидно, то
безусловно. Не о чем думать,
чёртова кукла.

Флоренция

I

Сквозь сеть напечатленных взглядов —
с бурого купола хрупкой громады
Санта-Мария дель Фьоре —
уронил я утром сердце
в этот сентябрьский солнечный город
(в глухонемую охру и неподкупную
просинь), —
не вздохнув
о Риме и о мире,
позабыв исконные заветы

перелётных стай.

II

Под набережной Арно – толкотня полу —
пудовых крыс. Из мрамора
пилюли заказав,
замкнулись Медичи в привольных саркофагах
до дня сулёного.

А в Академии как в будни, так
и в воскресенье, держа пращу
перстами игреца,
grimасой умысла Давид страшает
несостоявшиеся души.

Венеция

I

Когда из лакового гроба неуправляемой гондолы
тебе (и никому
другому)
на всякий случай подмигнёт Джованни
Джакомо
Казанова и скроется под маской птиценосой,
когда оближет мёртвая вода
по ступеням покинутых палаццо
мокриц и пряди тины,

когда заплатишь бережной тоской за праздное
муранское стекло,
когда из-за угла
и за
пьяцеттой, сквозь гвалт и крылья глупых голубей,
тебе – за весь невзрачный век – воздастся
ослепляющей лагуной – тогда,
тогда,
тогда непрошенный обряд венециации свершится над
нестоящим тобой.

II

За кайму цветов стеклянных боязливою ногою
ступим сквозь живую воду
зеркала (теперь взаправду
всякий шаг),
чтоб следить небезразлично, как
от лестницы Гигантов под аркаду пролетают черно —
белые баутты, словно бабочки ночные, сунув
ветреное сердце, ключик и стилет трёхгранный
в леопардовые муфты.
Пьяцца бархатом накрыта, шёлк багровый на
гондолах, на закате расплескались реки
радужной парчи. Сим
пленяли не напрасно полунабожные дожи,
приживальщики, поэты, банкомёты и актрисы,
скарамуши, арлекины, шарлатаны и, конечно
же, досужие зеваки – словом, те

венецианцы: нет
верней краплёной карты и надёжней прежней
смерти, нет честней атласной маски и
живей воды зелёной, омывающей
пороги,
уводящие нестрогих сквозь
несомкнутые волны – за кайму
цветов стеклянных.

Октябрь 1983. Нов. Гавань

«Мне снились стены городов, морей...»

Мне снились стены городов, морей
накат и в небе – горы, пинии
и башни, чужих могил
неспешный шепоток, чужих
церквей нестрашные громады,
и мнились всеу голоса, и волосы
текли меж пальцев, а за спиною
крались дни – заведомые тати – и
отставали за углом, чтоб чваниться
сноровкой. И вот
привиделась мне
мама. Чуть свет она подходит
к полке
и мне глядит в бумажные
глаза,
и вот теперь почти не верит, что
это я, когда по лестнице взбегают или
шуршат половиком, когда
без стука
потянут ручку
двери
на себя.

X.1983. Нов. Гавань

К похождениям г-на Чичикова

Уступите мне мёртвые души
за двугривенный или полтину. Да на что
вам такая обуза? Вы
послушайте, если бездушны – так
лишь хлеба, а водки не надо. Уступите
усопшие души. Не полушку
сулю – соглашайтесь. Позарез мне
набрать бы хоть дюжину, хоть пяток
или сколько прикажете.

Я поить
земляничной росой, одевать
в заграничное кружево буду их, а не то —
в креп-жоржет, по утрам услаждать их
весёлостью речи
и гулять уводить поштучно
всякий вечер в сплошной и неблизкий,
старомодный нешуточный лес. Так уж,
право, никто не осудит. Мне не сбить
капитала иного. Уступите
мне ваши почившие души
и недужные
тоже.

«Словом, если удавалось – то...»

Словом, если удавалось – то
лишь ветренность
и верность. На ледовой перепонке
гладью вышиты морщинки.
Что же выглядит свежее беглой
новости о смерти? Ах,
не в пору пообвыклись мы
с трусцою несуральной.
То пельмени с сердцем
в комендантском доме, то
мозги с горошком
ел в первопрестольной. Словом,
был неправильным настолько,
насколько чудилось мне
верным.

29. III.1984. Нов. Гавань

Две темы для финала

Как леди Каролина Лэм,
за полночь в фосфорной ротонде
упасть. Амбирный поясик
под грудью и имя пенкою из уст
закушенных – чтоб распоролась облака,
чтоб съёжились. Курчавый лорд, как
косит ваша несусветность
и хромота.

Как опаршивевший поэт – своих,
чужих предать и спутать. «Мосьё, я под —
пишу стихи за франк, за пару ваших
вшивых слов, я за...» Закрылась дверь. И
с койки диктовать с оглядкой о чёте —
нечете, о Пушкине чуток, и с тем
небрежно переплыть границу без страны и
без охраны.

18. V.1984. Париж

«Всё это, слушай, вышло попыткой...»

Всё это, слушай, вышло попыткой
никогда не скажу чего —
может, пыткой плюшевых страшилищ,
может, молотьбой папье-маше.

И когда б не вычурные раны,
не труха бескровная из швов, мы бы,
стеклоокая, играли
до сих пор, насупившись, с тобой

в липовые кубики блаженства —
у окна, в котором не скажу
никогда какие облака
зацветали на ущербном солнце.

4. VI.1984. Париж

Акватинта

Лежит скорлупка на Неве.
То шпиц, то купол над тупою крышей.
Такая несуразица с утра, голландщина и
петербургщина какая. Российщина.
Петровщина.
Глазетовые воды.
То ломоносовщина, то ека —
теринщина, а то
суворовщина.
Отроческий ветер. И от века
уж коли не хованщина, то аракчеевщина или
бироновщина вовсе.
В бирюзе
зависли паруса и Божьи птахи.
Такая небывальщина с утра.
А полдень водит
галльской шторой. Немилосерден вид
Адмиралтейства, нещаден – Академии наук.

16. VI.1984. Париж

«И примостившись к замшевому уху...»

Ирине Одоевцевой

И примостившись к замшевому уху,
ей – сквозь разомкнутые воды
и кровли кукольных столиц, ей – сквозь
обжитые могилы, сквозь одурь
безучастнейших духов – кричу опять:
– Какой аллеей прокрались вы на
камелёк? «Как вы сказали?.. Я не слышу.
А Жорж! он там такой длиннющий, как
кабинетные часы —
гор-х-х-раздо выше всякой двери и
доброй челяди Христа».

21. VIII.1984. Париж

На смерть Алексиса Раннита

Простите, друг. Я стану осторожней
теперь на солнце чёрное смотреть:
там ждёт меня печальная усмешка
из-под бровей крылатых. Но придёт
мне в оный день письмо нездешнего формата,
в кудряшках росчерка – о том, что вот и все
обиды и заботы миновали, что вы в кругу
блаженных отворивших приветили мой час
рапирным взмахом вечного пера.

А нынче пусть простит Господь мне
муку эту, когда вы в лодке удаляетесь
по Лете и неотрывно смотрите сюда,
сюда, где вас как будто больше нету,
где для чего-то выпал снег, откуда нам, по
нашему билету, не слышно и не видно ничего,
где в парке Со не вспомнить нас не смогут
по осени пруды и тополя, сюда, где
спорили мы всеу о Россиях... Простите, друг.

6. I.1985. Париж

«Павлин распялит хвост нам в Фонтенбло...»

Павлин распялит хвост нам в Фонтенбло,
где Генрих и Франциск блажат с Наполеоном
в зелёной зале, где приветил свет Господний
тринадцатый, субтильнейший Людовик.
Обиды в горле – вешний знак,
что мы уста отвадить запоздали
от уст,
что, руку сняв с невзрослого плеча, мы
за глаза уцепимся глазами,
за ворот – вздохом, страхом —
за рукав. Пора. И
мы молчим, как сон непоправимы
те сотни лет вперёд или назад, где мы —
не мы, нас не довольно нам и
с нами нам не вольно, и не отпущена
прощальная вина.

28. II.1985. Париж

«Среди непроходимых глаз и хруста льда и...»

Среди непроходимых глаз и хруста льда и лавы, в засеке непроглядных снов, в кольце крестов над пластом насекомых, в виду заоблачного зева, сосущего своё из жил, в долгу у накрённных стен, которые — такой же дом, как та дерновая дыра, как та тесовая домина, — мне снится, что не хочется вставать, что озеро, карета меж пятнистыми стволами, в которой катит скорбная фон Мекк, которой и не снилось подходить, что из-за марта маковый апрель выглядывал, но дна не достаю стопой — не выдохнуть и не вдохнуть, — что мне не вынырнуть: я захлебнулся снами про то, что вдруг проснусь среди непроходимых глаз и хруста льда и лавы.

14. III.1985. Париж

«Откуда взялся, мальчик, ты и почему...»

Бахыту Кенжееву

Откуда взялся, мальчик, ты и почему
такой ты старый, и отчего, от чада и
жены зарывшись в складку
утренней портьеры, ты веко трёшь
опять, покуда пузырится край
зари, запястие тебе над —
резавший лучами?

28. III.1985. Париж

«Одиночества улички шаткие, я в обнимку...»

Одиночества улички шаткие, я в обнимку
с собой куролешу по палубам вашим. Одиночества
людные парки, где изъян не сокрыть, как на
сбыте илотов, порицаю ваш ветер прелый,
наст кленовый, хрустящий фалангами, и
скамьи перекрапленный остов. Под глазами
гуляет осколком одиночества радуга
ломкая. На плече каменеющий воздух,
и снедаемый заживо вечер одиночества
застится встречей.

10. X.1985. Париж

Блаженной Ксении

«Ты поди, поди, пригожий. Ай, у Ксеньюшки-то нашей глазоньки горят. Так и светят над могилкой. ...А ещё скажу, во дню ведь сколько раз добавлю масла, ну а после – во всю ночь никого, никто не тронет, а, глядишь, уже до света, как вернусь я, и не гаснут никогда».

Спину розовым снегом исхлещет:
за тобой пургу ночную
выстою в мольбе. Ох, Андрей
Феодорыч, в тень глазниц своих
кромешных схорони меня, в сей
дали от дали невской облегчи
на горле узел чуточной змеи
да над стаей детских пеней поведи
перстом. То в меня на Петроградской
камнем бросят те мальчонки,
коих след сотлел. В дом войдёшь,
и у порога битый век прожду.
На извозчика – я следом. Бог
в святых Своих коль
дивен, не отринь меня.

27. VII.1986. Пб.

Казарма

Однажды был за полем лысым синий
лес на краешке небес, на кончике ресницы; у
лба – железо сизой койки, окно, потом
забор, дорога поперёк зрачка; над
лесом тонким – голубое, а выше – снова
лес подоблачный – над кислым испарением
портянок, выскобленным полом, над
тумбочкой пустой и табуретом.

Однажды

я ушёл туда, а там обнял пятнистые
стволы и в сердце землю целовал,
кружился, плакал, пел однажды. Там
выси дрогнули, набухли и уронили ливень
пряный, краткий.

Сквозь гриву луговых стеблей
воздутые текли громады. Чело овеяло приникшею
душой. Один. Потом? Потом бывал подчас и
жив (обычно слыл), а волен – раз. Однажды
был забор, дорога, на кончике ресницы синий лес.

18. XII.1986. Палезо

ФОТОПОВЕСТЬ

В городе Пушкине, в Царском Селе, жили кузены в любвях и печалях – Женя и Жора, брюнет и шатен. Общество знало: два шkodные Ж. Дом на Московском шоссе, 33. Позже снесён. Только рыжая яма. Узких рубашек, расклёшенных брюк больше не носят Жора и Женя. Лондон-Париж: телефонных счетов понасылавшие годы. Пачки чудных фотографий; с колен скатятся Жора и Женя. Песен отпетых и там не поют, моль пиджаки доедает в тесном шкафу у какой-то из мам. Жора со мною глотает вино. Павловских мостиков, снежных аллей и аполлонов досталось стене. И до светла египтяне в бистро пивом его надувают. Женя и Жора: матовых, глянцевого слившихся лиц не усомнятся уж юные взгляды.

22. II.1987. Париж

Ирине Одоевцевой

Пламя хладных сиреней охлестнуло
ограды предместий. На версальском
велосипеде отбывая в шелест майский,
завожу прощальными губами: «Вы
покидали нас, вы стали
далеки...»

Впредь мне вас не катать
меж больничных платанов, поминая
лихом плеск крутых видений,
вновь из измороси эмигрантской не
внимать в субботнем опупенье дисканту
петропольского срока.

Но ваших глаз
ромашковые были и речи плеч и рук
непретворимость пусть в далеке моём
родимом приветит день бессумрачных
ночей, и русских дружб апостольское
бденье ваш вечер незагаданный
продлит.

8. V.1987. Палезо

«Полый ящик мой почтовый в недрах...»

Полый ящик мой почтовый в недрах
истово хранит тополей подлунных
профиль на домашних облаках, пух
и прах забвенных песен, горстку
звёзд и мост из бездны на кометах
невских фонарей, стаю стёртых
поцелуев на парче худых знамён,
вереницу дней незрячих – вдоль
обломленного края за хмельным
поводырём да долинных ветров
взмах холщовый над пернатым
сим подранком, что не двинет
клювом, не вспорхнет, снова глазом
розоватым глянет так из-под ключа,
будто ждали с острова Россия нынче
с ним всю тьму весомый
вздых, будто мы ещё не угадали
ящик полый мой почтовый утром
чем со дна на нас дохнёт, как
прикажет с Богом поживать, почивать
до солнц иного срока.

«Впрок причащаюсь крапчатому Лувру. Вагон...»

Впрок причащаюсь крапчатому Лувру. Вагон
над Сеной
пятится
вперёд.
За то, что
поспеваю торопиться, опять просо —
бираюсь опоздать. Помилуй мя,
придирчивая радость, не за оскомину
ежевоскресной жвачки – за утренний
озноб свечных стеблей. В набухшей
сфере вязнет взгляд. Зарезаннее агнцу
не бывать, закланнее – тому напеву,
что кротче не было в свой срок и час,
когда безбольно обмирали, когда
мы только
обвыкались
с отвычкой
жить.

28. II.1988. Париж

«Писать с приставками...»

Писать с приставками
глаголы, чтоб ветер их
передразнил. Болеть лишь
тем, чего не будет, а будет —
небылью крестить. Жить
только там, где явь не
в жилу, а приживётся —
не пережить. Слыть присно тем,
чем сроду не был, а быть —
чем нету больше сил.

5. I.1989. Палезо

«ЭТО БЫЛ ЖИВОЙ...»

Это был живой
наш, ломкий остров
с тропами и призрачным
зверьём, гrotами и
с птицей долговязой,
постигавшей зряшные
слова.

Под глухой,
тяжёлою водою
там уже меж кольев
волчьей ямы лес
кораллов, и в луче
играет рыба стая
крестиком на ленте
голубой.

12. IV.1989. Палезо

«Забвеньем меж и упованьем, в долине...»

*Tout homme porte sur l'épaule gauche
un singe et, sur l'épaule droite, un perroquet.*

Jean Cocteau

Забвеньем меж и упованьем, в долине
молодеющих теней свой
срок пожизненный отрубим, вмерзая
в несдираемую маску
послушника-охальника-деляги, кто прячет
проигравшие глаза
и носит обезьяну на плече в те дни, когда
не носит попугая.

10. XI.1989. Палезо

Кошке Стёпе

Ты ушёл, усатый-полосатый
мой зверёк, в последнюю страну —
дальше всех Америк или Франций, —
где тунца тебе не дать уж утром,
воду на ночь в блюдец не сменить, взор
предолгий, древний твой не встретить,
падая в крошечную дыру. Только
знаю: в тамошней юдоли
ждуший отольёт тебе нектара
и снесёт в объятых зазеркальных
к пушам их, к их плюшевым лугам.

1. X.1992. Париж

Романс Ральфа

«Здесь хорошо, здесь нет людей...» А ты, чьё небо я лепил из полувздохов петропольских, в кого/кому не верил, ты шлёшь по-старому мне нашу музыку на Пасху, когда не шлёшь на Рождество.

Сносивший

выделку беспроегранных равенств американец, чьей слабостью латал я и мостил долину сил последних эмигрантских, ты возвращаешь музыку сквозь годы мою – мне

в год смертей/разлук оттуда, где – впервые – не один. Один.

Немой

Париж. Чужое Рождество. Никчёмное отечество – пропало пропадом и то. И то. И те. И ты. А я? Лишь слушаю по-старому Вивальди, когда не слушаю: «Здесь только Бог да я...»

24. XII.1992. Париж

Сен-Бриак

В тёмном доме хороводом
ходят тени, тени смотрят из
картонок и над письмами не спят,
тени рядышком в постели, тени
молятся на тени и подолами
шуршат. Тенью я бреду за тенью —
до угла, где сильнееет ветер,
хвоя плачет, стонет птица, —
где дорожка Великого Князя
упирается в прожитый сон.

17. I.1993

Дома

Как сухо тикают часы,
Как стены белые надёжны.
В моей мансарде без войны
И мира выжить? Непреложно
Иконы метят в пустоту,
И письма пылью обрастают.
В моей мансарде не летают
И не срываются в мечту.
Поверь же мне ещё полпраза,
Моя цветная тишина,
Что эта снежная проказа
Не нас отвадит от тепла.

2. X.1993. Париж

Озеро

Людмиле Корсавиной

Писать надо просто и страшно,
Писать по вину и воде,
И юность гусарскую ташку
Набьёт нам стихами к весне.

Забудем дорогу в обратно,
Похерим дорогу в сюда,
Чтоб было нам слыть неповадно,
Чем быть нам сулила сума.

А кроны парят без оглядки —
Недвижимый лёт, Петергоф,
Где наши могильные грядки
И тающий след на Покров.

Писать надо озеро белым,
Писать поцелуй голубым,
А ангелов – чем-то несмелым,
Не мёртвым, но уж не живым.

29. X.1993. Париж

Памяти Гали

Белый-белый синий ветер
Мне седую душу метит,
Что Алкею. Впереди
Только пепел звёздный светел

Горсткой зыбкой лихолетий,
Уголёчком той мечты,
Что и нас из пасти света
Ластой вычерпают сны.

Взор икон ещё по-детски
Указует дверь, где ты,
Руки склеив на груди,
Уплываешь в занавески,

В синий-синий белый ветер —
Светлячком иной поры.

23. II.1994. Париж

«Ускакали короли, откатали луны...»

Ускакали короли, откатали луны,
В неразбавленном вине утонули гунны.

Прошурши же для слепых, вещая страница:
Клюнет висельнику в глаз неуклюже птица.

Вишь, у нас другой пароль и чужая мода —
К эпилогам небывалым ныне нету брода.

Из карманов накладных вылезают фиги.
Вы последними меня предавали, книги.

19. V.1994. Париж

«За окном карниз во сне. Некая погода...»

За окном карниз во сне. Некая погода.
Радость, вялость. Письма те,
что не ждал, ей-Богу.

Да чего там и зачем? Не прошла охота.
Отпусти меня совсем,
племя доброхотов.

Я ли мялся, не менял присказки на сказки?
А с горы – не станет сил
удержать салазки.

Вспухнет сизая Нева в пыльных парапетах,
и от глаз моих глаза
отведут портреты.

Павловск, Царское опять, лычки на погонах,
и рукой почти подать
до того парома.

19. V.1994. Париж

«За ликом лик, за следом след...»

За ликом лик, за следом след.
Ах, нам ещё полтьмы досталось —
Вся буколическая старость —
До влёта в неслепящий свет,

До отпадения сих риз
Из шкуры нашей барабанной,
До света цвета тьмы желанной,
Когда под тапочком карниз.

29. X.1993. Париж

«Вот и смылилось мамино мыло...»

А. М.

Вот и смылилось мамино мыло,
Вот и лето в парчовой грязи.
Может, мы не напились сим светом,
Только шлейфы уж веют вдали.

Расскажи мне, любовь, про разлуку,
Вновь про скудную радость мою.
Хороводят вослед наши феи,
Наши ангелы райскою мукой
Услаждаются, как на краю.

Где-то мается павловский ветер:
Полька гиблых надежд по листве.
Мы, усталые старые дети,
Нежно снились и вам, и себе.

23. X.1994. Париж

Театр

И за зыбкую руку держась,
Так, над розовым озером дыма,
В пропылённых тоскою хламидах
На последнюю оперу мира
Соберёмся и мы помолчать, —
Отрыгнув ложку рыбьего жира
И пурпурною ложей кичась.

8. XI.1994. Париж

«Прощай, мой град, в который странный...»

Прощай, мой град, в который странный
раз. Сон выпренне-обетованный я
поручаю пьянице вокзальной,
порхающей на мраморном полу,
покуда в морду синюю ей тычут нашатырь
на палке. Не ангелу ль, краплёному
гонконговской серьгой, вот уступаю
очередь у кассы? Прощайте, бюсты-статуи,
дрожачие в чехлах. Простите ж, утки —
селезни, в кроmeshных полыньях.

28. I.1995. Пб.

«Вот и канул последний Париж...»

Вот и канул последний Париж,
откатали века поцелуев,
и парит отрешённый вагон
мимо меченных сполохом овнов —
в с головой
окатившую
тьмь.
«Евростар».
Первый класс.
Сорок пять.
На шпалере в ветрах карусельных
убывающим окликом хора
из фонарных комет петербургских
проступает слепой негатив.

23. X.1995. Поезд в Лондон

Из книги «Последний снег»

Прелюдия

И заехал в последние дали той страны,
где бушующий май,
где признали меня только птицы, только
лица, которые звал,
и сошёл на пустом полустанке, где луга
лобызают плюсну,
где заклеен конверт злой печали, что
ночами писала из зим.
Без буфета, названья, без карты – там, где
выйти вовек не посмел,
где за музыкой дышит молчанье и за небом
не видно земли,
где и в даях заветные дали, где сливаются
долгие взгляды – там, где
жизнью кончается
жизнь.

2002. Богемия

Год любви

Твой год полуденной любви (а мой —
полночной): стекает
с пальцев мёд свечи, и губы —
почкой недомилованной весны, и...
(многоточье).

Зевает

зритель в пыльной тьме – мы
непорочны, как на
качелях Фрагонара – отмах барочный,
и ангел-друг назначит нам
пустую кару:
любовь расскажет о
любви вновь на атласных простынях
или на нарах под гул
необратимых снов (а с явью туго),
чтоб мы душа
к душе
легли
на штабелях
шестого круга.

2. III.1996. Париж

Платье Sissi

Когда я обживусь
в вивальдиевых ларго,
когда перелициуюсь
всей облачной изнанкой,
мой брат, апрельский
ветер, откроет мне
фигуры кармического танго
и вальса преисподней.

Свод мается
воскресный, как блик
на блёстке платья,
распятого музейщиком
в витрине образцово:
императрица Австрии и
королева Венгрии
в нём кем-то или
мною старательно
заколота.

Несколько вечных шагов
она ещё виляла,
как свеже —
обезглавленная
кураца.

1996–2003. Париж

«А В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВЯКАЮТ ЧАСЫ...»

А в этой жизни вякают часы:
она проходит, и нам её
с тобой не промахнуть на вездеходе.
Как тошно утром, как светло
ночами. Какая сволочь от души
нам подливает то винца,
а то – спитого чаю. Всё
в доле лютой немота, но всё —
дорога, и каждый небу задолжал
по сну невинному с прологом —
пусть даже те, чьё так давно-давно —
давно забито горло дёрном. А
в этой жизни тьякают часы:
со вздохом тёмным мы их заводим
и вспоминаем умилённо, что так
несчастливы, так одиноки.

7. III.1996. Париж

Памяти папы

Сей срок разительных ненастий, и
пеней полон сжатый рот,
а полдень утверждает в том, что чем
черней в пироге этой, тем радужней
в гондоле той,
тем мельче след и
сон летучей, а в зеркала —
просторней лаз,
что детство
корчится в падучей, когда
померкнет отчий глаз.

24. IV.1996. Париж

«Только пьянки и похмелья...»

Только пьянки и похмелья,
Только лет падучий лёт.
Где там вздох? Что там пени?
Губы стянет тонкий лёд.

В грязной мгле не доползти
До весны обетованной.
Видно, стали кашей манной
Али клёцками мозги.

Из ресниц вязать не станем
Впрок морского узелка.
Лучше сходим к сизым дядям
Пену слизывать с пивка.

Лучше снова по Парижу
За слюнявою тоской
Три пуда душевной грыжи
Потаскаем за собой.

И на нас, нежнее неги,
Льдинкой ляжет поцелуй,
Нечто к нам из пенных струй
Пустит лунные побеги.

Губы стянет тонкий лёд.
Что там вздохи? Где там пени?
Только лет падушый лёт,
Только пьянки и похмелья.

23. V.1996. Париж

Куплет

Рыщет ветер – мохнатый зверь.
Делать что мне с собой теперь?
Может, робко пойти в кино?
Может, сходу порхнуть в окно,
Чтоб шампанским взошла душа,
Что так любит, любовь, тебя?

Ветер видел подлёдный свет,
Ветер вспомнит, что смерти нет.
... Вот и я позаплёл стишки,
На которых висят кишки,
И по трём рубежам изголовья
Запевает мне голос безмолвья.

3. XII.1996. Париж

«Вам всем, с кем ветру по пути...»

Вам всем, с кем ветру по пути,
за вальс сердец внемлю:
кто населяет грудь, кто тьму,
кто сгинул днесь в пыли.
Всем вам, с кем пел и плыл
морями грёз и зыбких бдений,
меня из мира молча отпустить
в мир, что тогда из снов приветил,
когда по свету всуе куролесил,
чтоб мир мирами населить.

4. IV.1997. Самолёт Москва-Париж

31. V.1997. Париж

Voyage immobile³

Птицы счастья во сне деревянном
Убывают в безмолвный край,
Где он кружит, мой ангел медвяный,
Над страну по имени май.

Катит ветер дозвёздные волны,
И душа распласталась в полёт.
Глянет полдень в окно, и невольно
Возмурлычит почиющий кот.

Всех пожитков – твой вздох на дорогу.
Всех заливов подлунных стекло.
Отрывай же крылатую ногу
От порога и – грудь на весло.

Как мосты, опрокинут в покое.
Утлый ялик в ресницы отплыл.
Вот и ты не перечишь: такое
Всякий ветер со всяким творил.

31. V.1997. Париж

³ Неподвижное путешествие (фр.).

Турецкий август

Над соляной пустыней озера зависнет снежным
островом мираж.

С родней прокатят

в «кадиллаках» напрокат свежеобрезанные
отроки, подобные лакомым сдобам с глазурью и
изюмом, и чарку ракии в раю своём
сапфирно-изумрудном любовно опрокинет
Ататюрк: буль-буль, и гюле-гюле⁴.

Набухнет под

серебряным ковром гробница дервиша с чалмою, и
чаем яблочным – сквозь адский смрад носков
пейзанских, – свернувшись в перламутровом
ларце, повеет борода святая.

И будет

ластиться эгейская лазурь и бирюза – сквозь
бархатные хляби, и станут русофилы-журавли —
в стерне седой раздумчиво шагать, пока предвечный
хор цикад звенит в серебряных оливах: «велик
Аллах, велииик...» – до первой крови смертного заката
на Мармаре, где, мраморны, где, мармеладны,
струятся Принцезы в томленьях острова.

1. VIII.1997. Бодрум

⁴ до свиданья (тур.).

Вивальди, или Удовольствие

Утро. В парижской мансарде, грешный,
я брился, слушая бодрый концерт «Il riacege».
За тонкой стенкой пружины заскрипели почти
что в такт, и к финалу второго аллегро
соседка взвыла звероподобно и
возмычал сосед.

И вспомнила душа, как в опере
отшедшей задёргивались занавески лож, как
сыпались потом из них в партер
плебейский куплеты и весомые плевки, как из
каналов шёлковых, зловонных вылавливали
по утрам младенцев вздутые тельца
крюками.

Теперь он спит, тщедушнейший
астматик, в промозгло чуждой Вене
на нищем кладбище больничном. Так
вой, сосед, вопи, соседка, на карнавале
Рыжего Аббата: под клавиесин
тоски, под флейту ласки
мы выплываем
в зимнюю лагуну
послушать посторгазменное
ларго.

Кому-то скверно, кому-то славно, но
всё как должно, да, всё как надо у водопада

блаженств барочных – во всех отыгранных,
отлюбленных, во всех
нанизанных мирах.

9. II.1998. Париж

Приземление

Этот вечер – пустой и прозрачный,
как протянутая рука,
эти ангелы в кукольной Праге,
эти кролики в Руасси, этот
я в филигранной печали —

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.